

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## ВАДИМ КОЖИНОВ

### Глава 14

#### Русская Идея (продолжение)

В самом конце 1950-х в руки Кожинова попала недавно вышедшая книжка стихов под несколько неожиданным в то время названием “Распевы” автора с явно “не поэтическим” именем – Николай Тряпкин.

Эта книжница в голубоватой обложке с изображением на ней берёзовой ветви произвела на Вадима Валериановича столь сильное впечатление, что он, оставив все дела, узнав, что автор – слушатель Высших литературных курсов при Литинституте – живёт в селе Лотошино Московской области, ринулся туда, чтобы, по его собственным словам, увидеть землю, на которой живёт поэт, захвативший многослойной цветистой речью, миром, где космические и земные энергии сливаются в единую, захватывающую всё существо, волну.

*Здесь прадед Святогор в скрижалях не стареет,  
Зато и сам Христос не спорит с новизной.  
И на лепных печах, ровесницах Кощея,  
Колхозный календарь читает Домовой.*

*Здесь подворотный снег сквозит душком лисицы,  
А снег полночных бань так суверенно-глух...  
До утра Домовой ворочает страницы  
Под брачный хохоток перинниц-молодух.*

... Он встретился с Тряпкиным, только-только перешагнувшим своё сорокалетие, слушал его вдохновенные рассказы (с сильнейшим заиканием) о пребывании на Русском Севере в годы войны, о его общении с Фёдором Панфёровым в бытность того главным редактором “Октября”, который отстаивал молодого поэта во всех самых тревожных ситуациях конца 1940-х... Слушал его пение, когда Тряпкин выводил строчки на собственный мотив, и казалось, что за его плечами вся тысячелетняя история Руси, что он сам – порождение Большого Времени, в котором великие эпохи неразрывно вьются в единое целое.

*Посмотрите, как землю весенним теплом  
Распекло, разморило.  
Это машет в полях огневым помелом  
Животворец Ярило.  
Посмотрите, как сыплют зерно мужички  
В золотое лукошко.  
Что же мне-то всё слушать, как свирчут сверчки,  
Да глядеть из окошка?*

*Исходили вы тыщи привольных путей  
По Руси и по Чуди.  
Мне бы чуточку пыли от ваших лаптей,  
Разлюбезные люди.  
Что же! Дуньте, посыпьте мой чёрный кусок  
При напутственном слове,  
Чтобы сила пошла, как весенний поток,  
По Илюхиной крови...*

Казалось, действительно поэт “и был ни сватом и ни братом — жилец Бог весть каких времён”... Но тут древний мотив сменялся романсовой нотой, словно приближавшей человека второй половины XX столетия к последнему десятилетию века XIX-го:

*Что за роца сияла в цвету!  
Что за флейта звала, не смолкая!..  
Да ведь сколько тут гроз на ветру  
Пронеслось, всё огнём опаляя!*

*Ничего! Ты послушай со мной:  
Над заливом, что в зарослях скрылся,  
Белый сад, на волне ветровой  
Белым шумом вовсю расходился.*

*Он шумит на десятки ладов  
О земле полнокровной и честной,  
И в полотнах его парусов —  
Несмолкающий гомон воскресный.*

И окончательно “добивало” Кожинова исполнение Тряпкиным одного из лучших его творений, посвящённого памяти отца:

*На груди твоей жёлтые руки,  
Отработавшие навек.  
И морщин лицевых излуки —  
Точно сотни застывших рек.*

*По какой же, отец, метели  
Мы с поднятых стропил ушли?  
И когда они отлетели —  
Твои тихие журавли?*

Это не читалось с поэтических эстрад, это “тонуло” в общей массе наперебой издававшихся тогда стихотворных сборников, и нужен был глаз Кожинова, сумевшего выхватить из обильного поэтического половодья, несущего с собой груды мусора, именно эту книжицу, с которой и началось его погружение в тряпкинский мир (подобно тому, как погрузился он в мир Бахтина)... Поэт и литературовед сблизились настолько, что Тряпкин посвятил Кожинову одно из стихотворений, всё пронизанное тогдашними настроениями, бродившими и пузырившимися после XXII съезда партии, после новой серии ожесточённых антисталинских заклинаний... И тряпкинские мысли были созвучны кожиновским, и их общие мысли были созвучны тогдашним солженицынским...

*Мы ещё не трезвы от испуга  
И не можем спать.  
И угрюмо смотрим друг на друга:  
Что же нам сказать?*

*У могил святых, могил напрасных  
Что нам говорить?  
Что в стране под знаменем прекрасным  
Было трудно жить?*

*Только вспомним ружья конвоиров  
Да в испуге мать...  
Эти годы ждут своих шекспиров —  
Где нам совладать?*

*Мы ещё не так-то много знаем —  
Только счёт до ста.  
Мы ещё почти не открываем  
Робкие уста.*

*Ну, а если всё-таки откроем  
И начнём рассказ,  
Никакою славою не смоём  
Этих пятен с нас!*

К строчке — во многом провидческой — “эти годы ждут своих шекспиров” — нам ещё предстоит вернуться. Сейчас лишь отметим, что Кожинов не пропускал потом ни одной книжки Тряпкина, чтобы не сунуть её своим друзьям и знакомым: “Читайте! Вслушивайтесь! Это — поэзия!” Но писать о поэте он начнёт много позже — через десяток лет. В то время все его силы поглощал Бахтин и выходящая том за томом “Теория литературы”.

Вернёмся, всё же, к ближайшим кожиновским друзьям, к их поэтическому кружку.

\* \* \*

В мемуарном очерке “В кругу московских поэтов”, написанном в 1979 году, Кожинов специально остановился на “довольно драматической ситуации”, сложившейся вокруг кружка к осени 1963 года.

“Поэты кружка уже могли “предъявить миру” целый ряд превосходных — ныне, кстати сказать, всем известных — стихотворений, однако даже лучшие их стихи жили, по сути дела, только “внутри” кружка. Я был убеждён не только в том, что стихи эти представляют собой наиболее значительные явления современной молодой поэзии, но что выразившимся в них творческим устремлениям, безусловно, принадлежит будущее. И при всей своей погружённости в литературу прошлых эпох я так или иначе сознавал, что без внятного для всех современного продолжения подлинного творчества в какой-то мере теряет смысл и великая поэтическая культура прошлого...”

На одной из встреч зашёл разговор о затруднениях с печатанием стихов, прежде всего, о вполне готовой к изданию, но, как говорится, лежащей без движения первой книге Анатолия Передреева. Чуть ли не впервые услышал я тогда из уст друзей горькие слова о трудности пути в литературе и стал искать какой-либо выход”.

Если говорить персонально об Анатолии Передрееве, то к 1964 году им были уже написаны такие прекрасные стихотворения, как “Мать”, “Всю ночь про жизнь свою...”, “Когда устанешь от земли...”, “Под куполом старого цирка...”, “Гармоника в метро”, “Ночной самолёт”, “Итог”, стихотворные циклы “Работа” и “Дома”, — эти стихи были с восхищением приняты его друзьями.

*Возвращаюсь  
К простым вещам,  
К свету малому  
В малом окошке,  
Приобщаюсь  
К дымящимся щам,  
Приручаюсь к домашней ложке!  
Так томяще,  
Щемяще так  
Пригибаться в скрипучие двери...  
Глажу рыжую спину кота,  
Словно редкого странного зверя!*

*Задеваю и стол, и кровать,  
Как слепой, прикасаюсь тихо...  
И гляжу на закате  
На мать —  
Мать сидит на скамейке тихо.*

Эти “бедные” рифмы лишь подчёркивали естественную простоту неожиданного открытия мира в “простых” вещах, когда совершенно иначе, чем раньше, видятся и “скрипучие двери”, входя в которые поэт пригибается воистину с “томящим” и “щемящим” чувством возвращения в дом, в котором и знакомый с детства обиход, и мать, сидящая на скамейке, — всё освещается совершенно иным светом, нежели ранее... Здесь ощущалось соприкосновение с высокой классикой — притом, что Передреев только-только приблизился к тому порогу, за которым им будут написаны несколько высочайших творений, когда сама пушкинская традиция потребовала от него подлинного взлёта... Но первая книга была уже готова. Кстати говоря, составил её Станислав Куняев. Он же принёс её в издательство “Советский писатель” и вручил заведующему редакцией поэзии Егору Исаеву.

Но одно дело — довести рукопись до кондиции и представить издательским работникам. Другое — довести до их сознания необходимость издать именно эту книгу. У Кожинава уже был богатый опыт в подобного рода делах (сама по себе история издания “Проблем поэтики Достоевского” о многом говорит). И он прибег к помощи университетского друга, известного в то время критика Дмитрия Старикова, уже прославившегося скандальной статьёй “Об одном стихотворении” в “Литературе и жизни”, разносящей евтушенковский “Бабий Яр”... А ещё до этого та же газета опубликовала стихотворение Алексея Маркова “Мой ответ” — не менее прямолинейное, чем евтушенковский опус. Тут же в кругах литературных “либералов” Стариков обзавёлся репутацией “антисемита”, несмотря на то, что противопоставил евтушенковскому стихотворению стихотворение на ту же тему Ильи Эренбурга. Эренбург (по наущению Слуцкого) выступил с открытым письмом, естественно, направленным против Старикова. Редколлегия газеты раскололась, а сама редакция получила более трёхсот писем, “уничтожающих” Маркова и Старикова.

Кожин был очень рад тому, что некогда хорошо знакомый ему стихотворец получил по физиономии. Он уже не раз сталкивался лично с высокомерием и надутостью Евтушенко, который “бронзовел” на глазах и периодически давал понять окружающим (Кожинуву в том числе), что они все должны считать за честь быть с ним знакомыми. Но возмущало и раздражало не только личное поведение зарывающегося “мэтра” поэтической эстрады. Гораздо хуже в глазах Кожинава было другое: поведение творческое. В стихах, которые становились всё хуже и хуже, претенциознее и претенциознее (слишком быстро исчезло из них то молодое обаяние, которое притягивало ещё несколько лет назад), отчётливо давала себя знать нота всепобеждающего эгоизма, и это сказывалось на всём — на поэтике, на образной системе, в том числе и на манере исполнения. Маски сменяли друг друга с калейдоскопической быстротой, а из-под них неизменно выглядывало лицо, выражение которого говорило об одном: я — ваш, я — такой же, как вы, но посмотрите, какой я смелый и прогрессивный, как я умею “вставить пистон” тому или другому ненавистному чинуше, как я умею “проташить” в той или иной строке ту или иную “крамолу”... Как я повернулся этим боком, а как — другим... Нравится? Мне — тоже.

Сейчас же речь шла не о раздевании “эстрадного чучела”, а о помощи настающему поэту. Кожинов отправился к живущему по соседству Старикову с машинописными подборками стихов своих друзей и любимой семиструнной гитарой. О дальнейшем расскажет сам Вадим Валерианович.

“По-студенчески резко я сказал ему, что вот, мол, он столь активно пишет о современной литературе, и прежде всего, о поэзии, но даже не имеет представления о творчестве наиболее значительных и наиболее обещающих молодых поэтов. Затем, не дожидаясь возражений, я стал читать Дмитрию и его жене, также литератору, неведомые им стихи, а кое-что и напел под гитару... И этого оказалось достаточно. Помню даже женские слёзы восторга... Дмитрий Стариков горячо заинтересовался творчеством Анатолия Передреева и его друзей...”

В декабрьском номере “Молодой гвардии” за 1963 год Дмитрий Стариков писал об Анатолии Передрееве, но слова его в той или иной мере характеризовали и других поэтов его кружка: “Он нетороплив и прост той подлинной простотой жизни, какая в тысячи раз сложнее изошрённых школярских вывертов с претензией на эпатаж и архисовременность. Проблемы, которые его волнуют и заставляют задумываться, не “сочинённые” и не призанятые на стороне – их рождает сама жизнь...”

К слову, о “Молодой гвардии”. С марта месяца 1963 года журнал возглавлял историк по образованию Анатолий Васильевич Никонов. При нём здесь продолжали печататься “колонки” Владимира Турбина, стихи Андрея Вознесенского, и уже начинало формироваться новое направление (если можно говорить о нём, как новом) – обращение к периодически в нашей стране в XX столетии забываемой, уничтожаемой, выжигаемой, высмеиваемой традицией. Статья Дмитрия Старикова стала одной из первых ласточек новой “молодогвардейской весны”.

В том же 1963 году в “Знамени” Станислав Куняев напечатал первую большую подборку передреевских стихотворений в Москве. А в 1964-м, как вспоминал он сам, “мы уже обмывали “Судьбу” в шашлычной “Эльбрус”, помнится, вместе с нами в тот вечер был и Владимир Соколов, и Вадим Кожинов...” Думается, что выход этой книги был для Кожинова не меньшей радостью, чем выход книги Бахтина. В декабре месяце того же года в “Литературной России” (преобразованной из “Литературы и жизни”) появилась его небольшая, но чрезвычайно ёмкая статья “Судьба Анатолия Передреева”.

Именно воплощённые в стихах судьбы молодых поэтов, окружавших Вадима Валериановича, всё более и более занимали его, становились предметом углублённых размышлений. Среди обилия стихотворцев, содержание творений которых исчерпывалось набором внешних впечатлений и поверхностных деклараций (независимо от их идейного направления и литературных вкусов), стихи его друзей отличались той насыщенностью смысла, что неотделима от личной поэтической судьбы во времени, которое переживается и как сия минута, и как вспышка в бесконечности Большой Истории.

Кроме всего прочего, Кожинова и его друзей восхищало умение Передреева читать стихи. Он улавливал и у классиков, и у современников то, чего не улавливал никто, в читанных и перечитанных стихотворениях открывал скрытые смыслы, поражался глубинной точности единственных выбранных поэтом слов, делился открытиями со своими друзьями, проводившими время в жарких поэтических прениях, в напряжённых раздумьях над прочитанным.

Именно Передреев неожиданно и дерзко сопоставлял двух пророков – пушкинского и лермонтовского. Именно он по-новому, точно и вдумчиво прочитал знаменитый лермонтовский “Сон” – и то, о чём он говорил друзьям, нашло потом завершённое воплощение в статье “Читая русских поэтов”, опубликованной в “Октябре”: “Что это – сон умирающего? Или “сон” мертвеца? Ни то, ни другое. “С свинцом в груди”, “недвижим” – как будто смерть. “Ещё дымила рана” – можно понимать, как угодно. Строка эта столько же говорит о “недавней” смерти, сколько о ещё теплящейся жизни. Но “солнце... жгло меня” – это ощущение только живого... Это погружение в тайну, где всякие уточнения реальности могут только помешать, сделать всё неправдоподобным, неистинным, “вспугнуть мечту”.

Внешняя достоверность при всей впечатляющей силе описаний для поэта, казалось бы, не имеет значения. Как спокойно и безжалостно он говорит о собственной смерти! Никакого “содрогания”. Может быть, только вот это

“с свинцом...” Он как бы заикнулся, с трудом выговорил страшные слова...

Главное для Лермонтова здесь — “странный сон”, таинственная сила которого так велика, что где-то “в родимой стороне” “душа младая” отвечает на него...

*...И снилась ей долина Дагестана:  
Знакомый труп лежал в долине той...*

“Знакомый труп” — это кульминация тайны происходящего (“знакомый” — о трупе не скажешь). И хотя дальнейшие строки почти не вызывают сомнения в смерти:

*В его груди, дымясь, чернела рана,  
И кровь лилась хладеющей струёй, —*

это уже не страшно, “свидание душ”, над которыми не властны ни “сияющая огнями” жизнь, ни “долина смерти”, состоялось. Это не спиритический сеанс, это всепобеждающая сила поэзии...

Именно Передреев открывал Есенина и просил взглянуться в то, как поэт с любовью описывает свою голову, и какие мрачные ноты начинают проникать в его стихи, когда речь заходит о сердце (кстати, Есенина — я тому свидетель — он читал так, как не снилось ни одному профессиональному артисту: не повышая голоса, раскатывал строку — и, казалось, этого напряжения не выдержит окружающее пространство. “Персидские мотивы” читал почти шёпотом, и этот шёпот заполнял собой всё вокруг. А потом вдруг неожиданно: “Почему у него “тихо розы бегут по полям”? Что за сумасшествие? Он что, из головы это выдумал? Он это в идею. Из окна вагона, когда едешь на Кавказ, подъезжаешь — и видишь огромное розовое поле. И они, розы, действительно, бегут. Бегут — и слегка кивают своими головками”...). Блистательный анализ есенинского поэтического жеста в “Исповеди хулигана” также вошёл в статью “Читая русских поэтов”, а небольшой штрих, посвящённый “голове, как розе золотой” в стихотворении “Прощай, Баку! Тебя я не увижу...”, остался ярким штрихом — свои остальные тонкие рассуждения о поэзии Есенина он великодушно оставил друзьям, и они в той или иной форме вошли и в книгу Кожина “Как пишут стихи”, и в книгу Станислава и Сергея Куняевых “Сергей Есенин”.

Именно Передреев, прочитав в “Новом мире” великий цикл Твардовского “Памяти матери”, обратил внимание Кожина на заключительные строки стихотворения “В краю, куда их вывезли гуртом...”: “А тех берёз кудрявых их давно на свете нету. Сниться больше нечему” и тут же стал говорить о поразительном смысле прочитанного (через много лет Кожин воспроизвёл его мысль в одной из своих ключевых статей: “Не знаю другого стихотворения со столь беспредельно трагедийным смыслом: не только нечем жить наяву, но даже и сниться нечему... Это не всегда сразу поймёшь...”).

Именно Передреев, читая стихи Рубцова, обратил внимание на то, что в них практически отсутствует цвет. Поделится этой мыслью с Кожинным, тот подхватил её и стал рассуждать о стихии света в поэзии друга.

“Помню, как Передреев пришёл в “Знамя” с “Литературной газетой” и с горящими от восхищения глазами прочёл вслух стихи Соколова:

*Звезда полей, звезда полей над отчим домом,  
И матери моей печальная рука...”*

*Осколок песни той вчера за тихим Доном  
Из чуждых уст настиг меня издалека.*

.....  
*Подруга, мать, земля, ты пленю не подвластна,  
Не плачь, что я молчу, возрастила, так прости,  
Нам не нужны слова, когда настолько ясно  
Всё, что друг другу мы должны произнести.*

Мы с молодой щедростью упивались свободой и душевной распаханностью этого стихотворения...” (Станислав Куняев)

Был здесь и ещё один подтекст. Начальные строчки песни, что настигла поэта “за тихим Доном” напоминали о трагедии гражданской войны (что в эти

годы у массы “гражданских поэтов” воспринималась как вселенский праздник свободы). Песни, воспоминание о которой сохранилось в прозе Бабея и Паустовского, в поэзии Бориса Ручьёва. У Соколова же и отсылка к соловьевскому “Тихому Дону” легла естественно и почти незаметно.

Поэты “кружка” были восхищены соколовской безусловной поэтической удачей, а у Николая Рубцова (как бы в продолжение мотива) родилась своя “Звезда полей”, которую он через год с небольшим также читал своим друзьям и которую при первой публикации в “Октябре” посвятил Соколову:

*Звезда полей, во мгле заледенелой  
Остановившись, смотрит в полынью.  
Уж на часах двенадцать прозвенело,  
И сон окутал родину мою...  
Звезда полей! В минуты потрясеней  
Я вспоминал, как тихо за холмом  
Она горит над золотом осенним,  
Она горит над зимним серебром...  
Звезда полей горит, не угасая,  
Для всех тревожных жителей земли,  
Своим лучом приветливым касаясь  
Всех городов, поднявшихся вдали.  
Но только здесь, во мгле заледенелой,  
Она восходит ярче и полней.  
И счастлив я, пока на свете белом  
Горит, горит звезда моих полей...*

... Именно Дмитрий Стариков, начавший работать в “Октябре”, главным редактором которого был Всеволод Кочетов (ненавидимый всей “либеральной общественностью” и на самом деле не отличавшийся большой культурой), начал печатать в журнале и поэзию Николая Рубцова, и прозу Василия Шукшина... Московские публикации у Рубцова уже были, в частности, в журнале “Юность”. Стихи отбирал лично член редколлегии Евгений Евтушенко, который потом чрезвычайно этим гордился, забывая об одной существенной “детали”: лучшие стихи Рубцова этого периода — “Добрый Филя”, “Я буду скакать по холмам...”, “Видения на холме” — он отверг с пренебрежительной гримасой, дескать, “телегу обижать не надо, телега сделала своё, но часто — будь она не ладна — в искусстве вижу я её”, как недавно ещё писал он сам. В результате были отобраны ранние стихи “морского цикла” и экспериментальные (времен службы Рубцова на флоте и жизни в Ленинграде), которые поэт оставил давно позади. В результате Рубцов вспоминал об этой публикации в популярнейшем молодёжном журнале не иначе, как в крепких выражениях.

Первые настоящие его стихи опубликовал в “Октябре” именно Стариков при помощи нового члена редколлегии, набиравшего популярность прозаика Владимира Максимова, восхищённого принесённой Стариковым рукописью.

Сам же Дмитрий Стариков принял непосредственное участие в знаменитом, сохранившемся в анналах истории “бодании” “Октября” с “Новым миром”, напечатав в 10-м номере журнала за 1963 год не менее скандальную, чем “Об одном стихотворении” статью “Тёркин против Тёркина”, уничтожившую поэму Твардовского “Тёркин на том свете”... Время вещь коварная. Пройдёт каких-то два-три года, прежде чем станет ясно всем (за исключением совершенно уж “слепых” и “упёртых”): сходства в позиции этих двух журналов гораздо больше, чем расхождений, а их взаимная непримиримость (на которую всеми средствами пытались воздействовать в плане “примирения” и аппарат ЦК КПСС, и аппарат Союза писателей СССР) в наибольшей мере основывается на личном взаимонеприятии двух главных редакторов.

Впрочем, какие-то существенные вещи стали очевидны уже в самом начале 1960-х. Даже в “Октябре” не появлялись столь живописные картины грома “старого мира” с таким жизнеутверждающим пафосом, как в “Новом мире”. В частности, в воспоминаниях Полины Виноградской о Якове Свердлове: “Первопрестольная” устремлялась ввысь только колокольнями своих “сорока сороков”. Она расплзлась вширь кривыми переулками, застроенными одноэтажными деревянными особнячками. Московскую старину оберегали веками. Первые попытки Моссовета расширить проезд у Китай-города,

снести стену с иконой Иверской божьей матери, упразднить Сухареву толкучку были встречены московскими обывателями в штыки”. Надо помнить, что печаталось это в 1963 году, когда Хрущёв вёл войну на уничтожение как с Русским Православием, так и со старой русской архитектурой, с памятниками Отечества, и эта война по накалу ничуть не уступала той, что прокатилась на рубеже 1920-х-1930-х годов, о чём Вадим Валерианович слышал рассказы непосредственного её свидетеля – Михаила Михайловича Бахтина. Понятно, что воспоминания Виноградской печатались в “Новом мире” как весьма актуальный материал, направленный против современных “обывателей”. Тем более что подобные “воспоминания” подкреплялись вполне современной публицистикой: “Ни один из пережитков прошлого не обладает, пожалуй, такой живучестью, как религия, <поэтому невозможно занимать> пассивную оборонительную позицию по отношению к враждебной марксизму-ленинизму идеалистической, религиозной идеологии”. В том же году на страницах того же журнала раздавался мощный возглас, призывающий на новый виток “борьбы с природой”: “Повернуть вспять северные реки! Если ранее это многим казалось несбыточной мечтой, то сейчас воспринимается как реальный проект. Решение такой грандиозной задачи, сказал Н. С. Хрущёв, “нам теперь вполне по плечу”, выразив тем самым твёрдую уверенность советского народа в том, что “чудо” свершится: наши учёные, инженеры, рабочие заставят природу отдать свои воды для обогащения Каспийского моря, увлажнения пустынь и засушливых земель”.

Природа, религия... А люди, конкретные люди, так называемые “обыватели”? Есть и о них. В замечательных, печатающихся из номера в номер мемуарах Ильи Эренбурга “Люди. Годы. Жизнь”, которыми зачитывалась “вся интеллигенция”:

“В двадцатые годы ещё доживала свой век старая, крестьянская Расея. Начало тридцатых годов стало переломом. Строительство Кузнецка я вспоминаю с трепетом и восхищением... не потому, что в итоге величайших испытаний начинали входить в работу цехи, а потому, что **эмбрионы людей** (выделено мной. – С. К.) постепенно становились настоящими людьми”.

Кожинов читал это с явным отвращением, не понимая, как от этого дикого русофобства никто в “Новом мире” не вздрогнул, включая самого Твардовского... Позже, читая цикл “Памяти матери”, он не мог не подумать о том, что, по логике Эренбурга, и мать Твардовского была таким же **“эмбрионом”**\*... О самом Эренбурге он составил себе представление окончательное, услышав бахтинскую характеристику маститого прозаика, публициста и мемуариста: “Лакей”.

Сам Кожинов ни в “Новом мире”, ни в “Октябре” не печатался ни при Твардовском и Кочетове, ни позже (порог “Нового мира” он переступил лишь в 1990-е годы, и мы ещё увидим, чем это для него закончилось). Но был чрезвычайно благодарен Старикову за то, что тот давал возможность (а то и попросту пробивал, став в 1964 году заместителем главного редактора) публикации Рубцова, Передереева, Соколова, Куняева... Два раза Передереев напечатался в “Новом мире”, трижды там напечатался в 60-е Соколов (“Октябрь” печатал их гораздо щедрее). Рубцов то ли вообще не переступил порога этого журнала, то ли там не приняли ни одного его стихотворения.

\* \* \*

Молодые люди жили весело и чрезвычайно свободно. Творили, кутили, читали, думали, не оглядываясь ни на кого и ни на что, не противопоставляя себя власти и ни капли не подыгрывая ей ни в чём. Все “политические расклады” (кто – либерал, кто – реакционер, кто – “правый”, кто – “левый”, кого поддерживает какое по рангу начальство) – всё, что было в поле зрения тогдашней “прогрессивной интеллигенции”, их как будто не касалось. У них, действительно, были вопросы поважнее.

Позже Рубцов напишет “Вечерние стихи”, насыщенные живыми приметами Вологды, где он тогда поселился, но меня не оставляет ощущение, что

\* В отдельном издании 1990 года “эмбрионы людей” были заменены на “сотни тысяч, миллионы строителей”. Дело это рук редакторов или составителей – неизвестно.



в этом же стихотворении подсознательно воспроизведены реалии московского “кружка”, где и ему, и его товарищам было так тепло и вольно в общении друг с другом:

*Вникаю в мудрость древних изречений  
О сложном смысле жизни на Земле.  
Я не боюсь осенних помрачений!  
Я полюбил ненастный шум вечерний,  
Огни в реке и Вологду во мгле...  
Вдоль по мосткам несётся листьев шорох —  
Видать в окно — и слышен ветра стон,  
И слышен волн сердитый шум и шорох,  
И, как живые, в наших разговорах  
Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон!*

... До сих пор жива легенда (выросшая из реального факта!) в стенах Литературного института о том, как Рубцов однажды снял со стены общежития портреты Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Достоевского, Толстого, принёс их в свою комнату и долго беседовал с ними за бутылкой вина, пока сбившиеся с ног комендант и его добровольные помощники искали живописные изображения классиков... Наконец, ворвались к Рубцову, а поэт на яростные, обращённые к нему вопросы только и ответил: “А здесь больше не с кем было поговорить”. И я не думаю, что подобный разговор мог состояться “за Вологодой-рекой”, “в ресторане”, “где подают кадуйское вино”... Рубцов явно вспоминал здесь своих московских друзей — именно в их разговорах оживали и становились их прямыми собеседниками и Есенин, и Пушкин, и Лермонтов, и Вийон, и Байрон, и много кто ещё.

Но и в реальной жизни случались и интересные знакомства, и более чем интересные беседы.

“... Я помню, — вспоминал Станислав Куняев, — как в это же время наша компания познакомилась с американским филологом, который стажировался у нас в МГУ. Звали его Мартин Малиа. Мы все — Передреев, Рубцов, Кожинов, я, Дима Стариков — ему понравившись, он был человеком при деньгах, и несколько месяцев мы дружно пропивали их то в Доме литераторов, то в кафе “Марс” на Тверской, то на моей или кожиновской квартире, то в общаге Литинститута. Говорили обо всём — о поэзии, о политике, о деле Пастернака, о Есенине, о Хрущёве, о XX съезде... Наверняка органам госбезопасности всё это было известно, но мы, ощущая себя русскими патриотами и государственниками, ничего не скрывали и не боялись ничего. Мартин Малиа снабжал нас литературой — книгами Бердяева, Библией, четырёхтомником Пастернака ...с “Доктором Живаго”. Мы даже подозревали, что он ЦРУшник (что потом подтвердилось), но и это не смущало нас: “Мы, поэты, люди свободные и родину свою никогда не продадим, а уж встречаться будем с кем нам угодно.” — так мы думали и чувствовали в то время. И никто нас не преследовал, никто никуда не вызывал, разве что Володю Дробышева на годик то ли отчислили из университета, найдя какой-то предлог, то ли перевели на заочное, да меня вычеркнули из списков на какую-то туристическую поездку в Африку. Может быть, в связи с ЦРУшником Малиа, а может быть, по другим причинам. Я ничуть не огорчился и ничего не стал выяснять. Мы были выше мелочей такого рода”.

Этот пастернаковский четырёхтомник и поныне стоит на одной из книжных полок отца, точнее, “трёхтомник”, поскольку том с “Доктором Живаго” исчез в неизвестном направлении. Его тогда читала вся компания — и Кожинов, наверняка с грустной усмешкой вспоминая своё выступление в ИМЛИ 1958 года, и Передреев, и Дробышев (грозненский передреевский друг, недоучившийся искусствовед), который, кажется, этот том, в конце концов, и зачитал. Естественно, друзья представления не имели о докладной записке, которую в праздничный день 1 января 1963 года направлял председатель КГБ Семичастный в ЦК КПСС:

*“В отношении источников информации иностранных корреспондентов о характере встречи руководителей Советского правительства с представителями творческой интеллигенции, а также о встрече товарища ИЛЬИЧЁВА Л. Ф. с творческой молодёжью Комитетом госбезопасности установлено,*

что 23 декабря штатный сотрудник журнала “Знамя” В. ДРОБЫШЕВ, старший редактор этого журнала С. КУНЯЕВ и студент Литературного института им. Горького А. ПЕРЕДРЕЕВ встречались с аспирантом МГУ американцем МАЛИА. На этой встрече, которая контролировалась оперативной техникой, указанные лица рассказали некоторые подробности о приёме руководителями Советского правительства творческой интеллигенции.

27 декабря В. ДРОБЫШЕВ на встрече с МАЛИА, которая также фиксировалась оперативной техникой, подробно информировал американца о совещании, проведённом товарищем ИЛЬИЧЁВЫМ Л. Ф. с творческой молодёжью. В частности, он пересказал МАЛИА содержание выступлений ФИРСОВА, ЕВТУШЕНКО, АНДРОНОВА и других участников совещания. ДРОБЫШЕВ заявил МАЛИА, что обо всём этом он узнал на совещании у ответственного секретаря журнала “Знамя” КУЗНЕЦОВА, который выступал с отчётом о встрече с творческой молодёжью.

МАЛИА поддерживает контакт с корреспондентом французской газеты “Монд” в Москве ТАТЮ, который 28 декабря передал в свою газету сообщение по вопросам, обсуждавшимся на вышеуказанных встречах. При этом содержание информации ТАТЮ во многом совпадает с тем, что ДРОБЫШЕВ, КУНЯЕВ и ПЕРЕДРЕЕВ рассказывали МАЛИА.

В процессе выявления источников информации иностранных корреспондентов в Комитет госбезопасности поступили данные о том, что о характере упомянутых выше встреч и имевших место дискуссиях и выступлениях информированы широкие круги интеллигенции и студенчества. Известно также, что многие работники искусств, участвовавшие в этих встречах, не считают нужным хранить их как конфиденциальные и свободно рассказывают о них другим лицам, включая иностранцев”.

А через 10 дней Хрущёв дал поручение “изучить, что это за люди, которые дают информацию иностранным корреспондентам, и подумать, какие меры следовало бы принять против этих людей”. Изучали, наверно, долго. И, судя по всему, к серьёзным выводам не пришли.

Впрочем, самому Хрущёву оставалось “царствовать” уже не слишком много.

\* \* \*

Рубцов, обладавший гордым и своевольным характером при всей своей внешней “тихости” и “незаметности”, умудрялся периодически “влипать” в разнообразную историю. И подчас это заканчивалось для него весьма печально. Кожинов вспоминал, как не раз приходилось участвовать в драках, вызволяя из беды товарища (подобное сплошь и рядом случалось и в Центральном доме литераторов, и в других местах, и в этих “побоищах” принимали участие и Станислав Куняев, и их более молодой друг, поэт Игорь Шкляревский, также вошедший в “кружок” в начале 1960-х)... Раз он выразил своё возмущение одним докладчиком, рекомендовавшим в ЦДЛовском зале поэтов, предназначавшихся для изучения в школе. “Ты почему о Есенине умолчал?!” — крикнул Рубцов и ответил бешеным сопротивлением на попытку вывести его из зала. Этот скандал стал предметом обсуждения в Литинституте — Рубцов был исключён, но скоро восстановлен... Проходит ещё некоторое время — и поэт чрезвычайно резко отзывается о какой-то расфуфыренной даме в ЦДЛовском же ресторане, после чего следует новая драка и новое исключение... Он уезжает к себе на родину в Никольское, откуда шлёт письмо Александру Яшину: “...Написал около сорока стихотворений. В основном о природе, есть и неплохие, и есть вроде бы ничего. Но писал по-другому, как мне кажется. Предпочитал использовать слова только духовного, эмоционально-образного содержания, которые звучали до нас сотни лет и столько же будут жить после нас... Вообще я никогда не использую ручку и чернила и не имею их. Даже не все чистовики отпечатываю на машинке — так что умру, наверно, с целым сборником, да и больших стихов, “напечатанных” или “записанных” только в моей беспорядочной голове...”

Через несколько лет Кожинов напишет в своей книжке о поэте: “У Николая Рубцова был трудный, неуравновешенный, глубоко противоречивый характер. Он являлся то предельно кротким и застенчивым, то развязным и ослеплённым чувством зла. Он мог быть стойким и мужественным, но мог и опустить руки

из-за неудачи. Он часто мечтал о семейном уюте, о спокойной творческой работе и в то же время всегда оставался, как верно заметил в одной из своих характеристик Николай Сидоренко (руководитель поэтического семинара в Литературном институте. — С. К.), “скитальцем” по самой своей природе. Рубцов говорил о своих скитаниях по русской земле:

*...Как будто ветер гнал меня по ней,  
По всей земле — по сёлам и столицам!  
Я сильный был, но ветер был сильней,  
И я нигде не мог остановиться...*

Конечно, были и чисто внешние препятствия и затруднения. Далеко не все и тем более не сразу понимали, каким редкостным поэтическим даром наделён этот небогато и небрежно одетый щуплый человек с рано облысевшим лбом и, скажем прямо, не блещущим красотой лицом, что многим мешало увидеть глубокое горячее свечение небольших глаз и выражающую духовную сосредоточенность складку широких губ... Добро и зло беспрепятственно боролись между собой на его житейском пути, который привёл его к гибели. Но поэзия его выростала из той “безобидной” и “неоскорбляемой” части души, над которой не были властны внешние воздействия...

Рубцов приехал в Москву, встретился с друзьями и читал им свои новые стихи, и это был момент торжества всего “кружка”. Читал он слегка нараспев, повышая голос от начальной ноты в строке до её завершения, а потом брал новый “голосовой разбег” (сохранившиеся записи его исполнения собственных стихов говорят об этом). Друзья слушали стихи, насыщенные словами, “которые звучали до нас сотни лет и столько же будут жить после нас”, стихи, имеющие прямое отношение к высокой классике.

*Тихая моя родина!  
Ивы, луна, соловьи...  
Мать моя здесь похоронена  
В детские годы мои.*

*— Где же могила? Не видели?  
Поле до края небес!  
Тихо ответили жители:  
“Каждому памятник — крест”.*

.....  
*С каждой избою и тучею,  
С громом, готовым упасть,  
Чувствую самую жгучую,  
Самую смертную связь.*

Он напевал под гармошку или под дешёвую “семиструнку” недавно написанные “В горнице моей светло...”, “Я уеду из этой деревни...” — и друзья благоговейно слушали. Только Передреев, которого, видимо, резанула какая-то, на его взгляд, душевная неточность в строчках “Мы с тобою, как разные птицы. // Что ж нам ждать на одном берегу? // Может быть, я смогу возвратиться, // может быть, никогда не смогу...” позже выговорил поэту:

— Ты всё-таки реши — сможешь ты возвратиться или нет?

И сам же читал новые стихи. И всем было ясно — и у него перевал позади. Стихи обрели тот простор, ту волю, ту бытийную пронзительность — всё то, чего добивается подлинный поэт, что клубилось в их спорах и размышлениях.

*В этом городе старом и новом  
Не найти ни начал, ни конца...  
Нелегко поразить его словом,  
Удивить выраженьем лица.*

*В этом городе новом и старом,  
Озабоченном общей судьбой,  
Нелегко потеряться задаром,  
Нелегко оставаться собой!*

*И в потоке его многоликом,  
В равномерном вращенье колёс,  
В равнодушном движении великом  
Нелегко удержаться от слёз!*

*Но горит надо мной колокольня,  
Но поёт пролетающий мост...  
Я не вынесу чистого поля,  
Одиноко мерцающих звёзд!*

Все неприятности, все проблемы, все неурядицы словно сдуло порывом освежающего ветра. Послушаем снова Вадима Валериановича – его рассказ о встрече Нового, 1965 года.

“Было решено встречать этот год в доме моих родителей, где Николай Рубцов ещё не бывал. И случилось так, что я запоздал, и Николай явился раньше меня. Был он одет – как бы это сказать – по-дорожному, что ли, и на моего отца, который встречал гостей, произвёл какое-то очень неблагоприятное впечатление. Отец мой вообще был человеком совершенно иного, чем мои друзья, склада...”

Прервём рассказ Вадима Валериановича и отметим, что это был далеко не первый случай, когда его отец с явной неприязнью относился к сыновьям гостям и оказался на грани жёсткого конфликта со своим отпрыском. Кожинов пришёл домой с Передреевым, молодым аспирантом ИМЛИ Валентином Недзвецким и Юзом Алешковским. Валериан Фёдорович, увидев Алешковского, пришёл в ярость (видимо, сам вид гостя не внушил ему особого расположения): “Я не хочу видеть этого в моём доме!” Юз не задержался с ответом: “Ну, и что? Я не к вам, а к вашему сыну пришёл, который тоже имеет право на эту квартиру”. Вадим Валерианович молчал, но это молчание было явно неодобрительным по отношению к отцу, и тот, видимо, понял, что сейчас гости уйдут и сын вместе с ними. И он позволил разрядить ситуацию своей жене и Елене Владимировне, которые пригласили всех за стол. Кончилось тем, что все вместе, включая Валериана Фёдоровича и брата Вадима Игоря, пели за столом русские народные песни.

В последний же вечер 1964 года всё закончилось далеко не столь идиллично.

“Я приехал чуть ли не без четверти двенадцать и застал Николая на улице у подъезда. Помню, меня страшно возмутило нарушение обычая, который я всегда считал священным: за новогодний стол необходимо посадить всякого, любого гостя. Я вбежал в квартиру, чтобы поздравить с Новым годом мать, и вернулся на улицу.

Что было делать? У нас имелось с собой вино и какая-то снедь; но всё же встреча Нового года на улице представлялась крайне неудобной. Оставалось минут десять до полуночи. Широкая Новослободская была совсем пуста – ни людей, ни машин.

И вдруг мы увидели одинокую машину, идущую в сторону Савёловского вокзала, за которым не так уж далеко находится общежитие Литературного института. Мы бросились наперерез ей. Полный непобедимого молодого обаяния Анатолий Передреев сумел уговорить водителя, и тот на предельной скорости домчал нас до “общаги”. Мы сели за стол в момент, когда радио уже включило Красную площадь. Почти не помню подробностей этой новогодней ночи, разве только всегда восторженную улыбку замечательного абхазского поэта Мушни Ласуриа, улыбку, с которой он угощал нас знаменитой мамалыгой. Но эта ночь была – тут память нисколько мне не изменяет – одной из самых радостных новогодних ночей для всех нас. Нами владело какое-то ощущение неизбежного нашего торжества, невзирая на самые неблагоприятные и горестные обстоятельства. Под утро мы с Анатолием Передреевым даже спустились к общежитскому автомату и позвонили моему отцу, чтобы как-то “отомстить” ему этим нашим торжеством. У него уже было совсем иное настроение, он извинялся, упрашивал, чтобы все мы немедленно приехали к нему, и т. д.

– Ты даже представить себе не можешь, кого ты не пустил на свой порог, – отвечал я. – Всё равно что Есенина не пустил...

И это тогда, 1 января 1965 года, уже было полной правдой”.

*(Продолжение следует)*